

ОСКОЛОК ТРЕТИЧНОЙ ЭПОХИ

Я с самого начала умываю руки. Не я, а он все это сочинил, и я не собираюсь отвечать за его рассказ. Заметьте, я делаю эти предварительные оговорки, чтобы никто не усомнился в моей честности. Я женат, достиг кое-какого положения, и, чтобы не опорочить доброе имя людей, чье уважение я имел честь заслужить, и не повредить нашим детям, я не вправе рисковать, как когда-то, с юношеским легкомыслием и беспечностью утверждая то, в чем не уверен. Итак, повторяю, я умываю руки, снимаю с себя всякую ответственность за этого Нимрода, могучего охотника, этого нескладного, веснушчатого, голубоглазого Томаса Стивенса.

Теперь, когда я все выложил и чист перед самим собою и перед всеми нашими потомками, сколько бы мне их жена ни подарила, я могу себе позволить быть великодушным. Не скажу дурного слова о том, что рассказал мне Томас Стивенс, более того, я вообще оставлю свое мнение при себе. Если меня спросят почему, я могу лишь ответить, что у меня нет на этот счет никакого мнения. Я много раз думал, взвешивал, оценивал, но, право слово, так ни к чему и не пришел, а все потому, что далеко мне до Томаса Стивенса. Если он говорил правду — хорошо, если

неправду — тоже хорошо. Ибо кто может подтвердить его слова? Или опровергнуть? Я выхожу из игры, ну а малoverы могут поступить, как поступил в свое время я: разыщите упомянутого Томаса Стивенса и потолкуйте с ним обо всем, что я надеюсь вам рассказать. Вы спрóbите, где его найти? Пожалуйста, где-нибудь между пятьдесят третьим градусом северной широты и полюсом или между восточными берегами Сибири и западной оконечностью Лабрадора — в любом месте, где водится дичь. Он, без сомнения, где-то там, место вполне определенное, даю вам честное благородное слово человека, который заботится о своем будущем, а потому не лукавит и держится подальше от греха.

Может, Томас Стивенс и великий выдумщик, но не могу не сказать, что он забрел в мой лагерь в тот самый час, когда я сидел один и думал, что от тех мест, где можно встретить цивилизованного человека, меня отделяет тысяча миль. При виде человека, первого за долгие, томительные месяцы, я едва не вскочил и не обнял его (а я вовсе не склонен к бурным проявлениям чувств), для него же в этом посещении не было, кажется, ничего удивительного. Он просто забрел на огонек, поздоровался по обычаю охотников и бродяг и, отодвинув в одну сторону мои лыжи, в другую — собак, расчистил себе место у очага. «Заглянул одолжить щепотку соды, — сказал он, — а заодно поинтересоваться, нет ли у вас хоть немного доброго табаку». Он вынул старую трубку, тщательно набил ее и, глазом не моргнув, отсыпал половину золотистых сухих завитков из моего кيسета в свой. Да, табачок был хорош! Не испытывая ни малейших угрызений совести, он блаженно заты-

нулся, а я глядел на него, и мое сердце курильщика радовалось.

Охотник? Зверолов? Старатель? Он пожал плечами. Нет, просто бродит здесь вокруг. Недавно побывал у Большого Невольничьего, подумывает прогуляться на Юкон. В Кошимской фактории говорили о россыпях на Клондайке, и он решил поглядеть, чем дело пахнет.

Я заметил, что он называет Клондайк по старинке, на местный лад, Оленьей рекой — привычка гордых старожилов, не желавших, чтобы их смешивали с чечако и прочими неженками. Но у него это получилось так непосредственно и просто, что не уязвляло, и я простил его. Он сказал, что, пока не перевалил кряж и не спустился к Юкону, ему, пожалуй, не худо бы еще заглянуть в Форт Доброй Надежды.

Надо сказать, что Форт Доброй Надежды далеко на севере, за полярным кругом, куда редко ступает нога человека, и, когда среди ночи к вам невесть откуда является этакий бродяга, подсаживается к огню и сыплет такими словечками, как «прогуляться» на Юкон и «заглянуть» в Форт Доброй Надежды, самое время встать и протереть глаза. И я огляделся: увидел брезент, защищавший от ветра, под ним — сосновые сучья, на которых я на ночь расстилал меховые одеяла, мешки с провизией, фотографическую камеру, пар от дыхания псов, что улеглись вокруг костра, а в вышине — гигантское полотнище северного сияния, раскинувшееся в небе с юго-востока на северо-запад. Я вздрогнул. Есть в ночах Севера какое-то колдовство, которое пробирает до костей, словно лихорадка на болотах. Не успеешь оглянуться, как ты уже в его власти и повержен наземь.

Потом я взглянул на свои лыжи, они лежали плашмя, крест-накрест, там, где он их бросил. Увидел я и кисет. По крайней мере половины моего солидного запаса курева как не бывало. Все сомнения рассеялись. Стало быть, мне не померещилось.

Верно, нечеловеческие лишения свели его с ума, подумал я, в упор глядя на гостя; как видно, это одна из жертв золотой лихорадки — из тех, что давно забыли родной дом и бродят, как неприкаянные, по бескрайним и бесплодным просторам. Ну что ж, пусть его болтает, пока, быть может, его помраченное сознание не прояснится. Как знать, вдруг при звуке человеческой речи он придет в себя.

И вот я старался втянуть его в разговор, и вскоре он, к моему изумлению, со знанием дела заговорил о дичи, о зверье и его повадках. Оказывается, он подстрелил однажды сибирского волка на крайнем западе Аляски и серну в самом сердце Скалистых гор. Он знает местечки, где по сей день бродит последний бизон, он преследовал по пятам стотысячное стадо чем-то испуганных карибу и спал на зимней тропе мускусного быка на Бесплодных землях.

И, слушая эти рассказы, я переменял мнение о нем (в первый раз, но отнюдь не в последний) и решил, что передо мной сама правдивость. Не знаю почему, но мне вздумалось рассказать ему историю, услышанную от человека, прожившего в этих краях так долго, что он уже не мог не привирать. Он уверял, что на крутых откосах горы Святого Илии водится огромный медведь, который никогда не спускается ниже, на более отлогие склоны. И вот Бог так создал, приспособил этого зверя, что обе его правые лапы — передняя и задняя — на фут короче левых. И вы, конечно, согласитесь, что это очень удобно.

От первого лица, в настоящем времени, я пустился рассказывать, как самолично охотился на этого редкого зверя, для пущего правдоподобия сдобрил местным колоритом, приукрасил все, как полагается, и поглядывал на своего слушателя в надежде, что мой рассказ ошеломит его.

Ничуть не бывало. Усомнись он, я бы его простил. Заспорь он, скажи, что такая охота не опасна, — ведь зверь не может повернуться и побежать в другую сторону, — возрази он хоть слово, и я крепко пожал бы его руку, руку честного человека. Но ничуть не бывало. Он фыркнул, поглядел на меня и снова фыркнул; потом воздал должное моему табаку, положил ногу мне на колени и предложил пощупать мокасины. То были муклуки, какие носят аляскинские эскимосы, — сшитые сухожилиями, не украшенные ни бисером, ни какой-либо другой отделкой. Но шкура, из которой они были сшиты, — вот что меня поразило. Толщиной добрых полдюйма, она напоминала моржовую, но на этом сходство кончалось, ибо ни один морж не может похвастать такой удивительной шерстью. Сбоку, на лодыжках, она почти вся вытерлась, оттого что он изо дня в день продирался сквозь снег и кустарник, но сзади и сверху, в местах более защищенных, была черная, без блеска и необыкновенно густая. Я с трудом разобрал мех, чтобы поглядеть на великолепный подшерсток, которым отличаются звери Севера, но его не оказалось. Зато шерсть была необычайной длины. В самом деле, на уцелевших, не вытершихся островках она достигала добрых семи, а то и восьми дюймов.

Я поглядел на своего гостя, и он убрал ногу и спросил:

— Ну как, у вашего медведя тоже такая шкура?
Я покачал головой.

— Не видал такой ни у одного зверя ни на море, ни на суше, — чистосердечно признался я.

Толщина шкуры и длина шерсти озадачили меня.

— Это шкура мамонта, — сказал он самым будничным голосом.

— Чепуха! — воскликнул я, не в силах сдержать свое неверие. — Дорогой мой, мамонт давным-давно исчез с лица земли. По окаменелым остаткам, обнаруженным в земле, и по замерзшему скелету, который сибирское солнце сочло нужным вытопить из самой толщи ледника, мы знаем, что некогда это животное существовало, но мы знаем также, что до наших дней оно не дожило. Наши исследователи...

— Ваши исследователи? — нетерпеливо прервал он. — Тьфу! Хилое племя. И слышать о них не хочу. Но скажи мне, человек, что знаешь ты о мамонте и его повадках?

Тут явно что-то кроется, и я закинул удочку — порывшись в памяти, стал выкладывать все, что знал о мамонтах. Прежде всего я подчеркнул, что это животное доисторическое, и выставил в поддержку все имевшиеся в моем распоряжении факты. Я сослался на песчаные отмели сибирских рек, где в изобилии находят остатки скелетов мамонта, упомянул огромные количества мамонтовой кости, закупленной у эскимосов Коммерческой компанией Аляски, поведал, что мне и самому довелось выкопать два бивня — один шести футов, другой восьми — в золотоносном песке на притоках Клондайка.

— И все эти ископаемые останки, — заключил я, — мы находим в наносных породах, отлагавшихся в давние времена.

— Помню, еще парнишкой я видел окаменелый арбуз. — Тут Томас Стивенс фыркнул (ужасно противно он фыркал). — Значит, хоть некоторые фантазеры и воображают, будто они выращивают и едят арбузы, на самом деле никаких арбузов давным-давно не существует.

— А чем бы они питались? — продолжал я, не обращая внимания на этот ребяческий довод, не имевший отношения к делу. — Чтобы прокормить таких исполинов, земля должна родить щедро и безотказно. Нигде на Севере не найдешь такого изобилия. Следовательно, мамонт не может существовать в наши дни.

— Я прощаю вам полную неосведомленность о полярных землях, вы ведь еще молоды и мало путешествовали, но в одном я готов с вами согласиться. Мамонтов больше нет. Откуда я знаю? Вот этой рукой я убил последнего мамонта.

Так вещал Нимрод, могучий охотник. Я швырнул в собак головешкой, приказал им прекратить адский вой и ждал. Уж конечно, этот редкостный враль не утерпит и оплатит мне за медведя с горы Святого Или.

— Дело было так, — начал он наконец, выдержав подобавшую случаю паузу, — однажды разбил я лагерь...

— Где именно? — прервал я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток, где простирались неведомые безбрежные просторы, — мало кто отваживался вступать на ту землю, и почти никто не вернулся оттуда.

— Разбил я лагерь, и Ключ вертелась тут же. Красивая была собака, лучше и не найти в наших краях. Отец ее был чистокровный мэйлмют из Пастилика

на Беринговом море, а мать я ей тоже выбрал с толком — лучшую суку из тех, что разводят у Гудзонова залива. Отличная была помесь, можете мне поверить. Так вот, в тот самый день, помню, Ключ принесла мне щенят от дикого волка; из них выросли бы отличные псы — серые, длинноногие, широкогрудые и на редкость выносливые. Слыхали вы что-нибудь подобное? Я вывел новую породу и каких только не строил планов!

Стало быть, она благополучно разрешилась, все честь по чести. Я сидел на корточках и разглядывал щенят — семь крепких слепых зверенышей, как вдруг позади раздался рев, точно в медные трубы затрубили. Что-то налетело, будто шквал, и не успел я подняться, как меня сбило с ног и я уткнулся в землю носом. И тут я услышал, как охнула Ключ — прямо как человек, когда его стукнешь кулаком в живот. Можете биться об заклад, что я лежал тихо, только чуть повернул голову и увидел, что надо мной нависла какая-то огромная туша. Потом мне снова открылось голубое небо, и я поднялся на ноги. И успел увидеть, как волосатая живая гора скрылась в зарослях на краю прогалины. Мелькнул толстый, толщиной с меня, торчащий хвост. Через мгновение у меня перед глазами был только широченный пролом в чаще, но еще слышался гул, будто удалялся ураган: трещали вырываемые с корнем кусты, с грохотом ломались и падали деревья.

Я кинулся за ружьем. Оно было положено на землю, под дулом был чурбан — чтоб не загрязнилось. Теперь от ложа остались одни щепки, ствол был искривлен, затвор сплюснен. Потом я поискал глазами Ключ и... и что, по-вашему, увидел?

Я покачал головой.

— Гореть мне у сатаны на сковородке, если от нее хоть что-нибудь осталось! И Ключ, и семь крепких слепых зверенышей исчезли все до единого. На том месте в мягком грунте оказалась скользкая, кровавая вмятина — добрый ярд в поперечнике, а по краям жалкие клочки шерсти.

Я отмерил на снегу три фута, описал круг и поглядел на Нимрода.

— Чудище было длиной в тридцать футов, а ростом в двадцать, — пояснил он, — а в каждом бивне шесть раз по три фута. Я и сам глазам своим не поверил. Может, мне все почудилось, но как же сломанное ружье и пролом в чаше? А Ключ со щенками, куда они девались? Господи, да меня и сейчас в жар бросает, как вспомню Ключ! Ведь это была новая Ева! Прародительница нового племени. И вот дикий, взбесившийся мамонт, точно второй потоп, снес их с лица земли! Право слово, земля, пропитанная кровью, взывала к небесам. Понятно, я схватил топор и кинулся в погоню.

— Топор? — в полнейшем восторге воскликнул я, представив себе эту картину. — С топором на огромного мамонта тридцати футов в длину и двадцати...

Нимрод тоже развеселился и даже прыснул от удовольствия.

— Помереть можно со смеху, а? — воскликнул он. — Хороша история? Я сам потом сколько раз смеялся, но тогда мне было не до смеху. Я совсем расвирепел из-за ружья и из-за Ключ. Нет, вы только подумайте! Сгинула новенькая, с иголки, порода, ее еще и в списки не занесли, и патента мне не дали. Не успели щенята прозреть, не успели на них выправить бумаги, как их уничтожили! Что ж, ладно. Жизнь полна разочарований, и это правильно.

Мясо вкусней, когда проголодаешься, а постель мягче после тяжелой дороги.

Так вот, схватил я топор, и припустился за зверем, и гнался за ним по пятам. Но когда он повернул назад и помчался вверх по долине, я остановился, чтобы перевести дух. И насчет еды я вам заодно кое-что объясню. Там, в горах, причудливо все устроено. Счету нет маленьким тесным ущельям, и все одинаковые, как близнецы, а стены крутые, отвесные. В устье долины всегда узкий проход, пробитый ледниками или тальми водами. Только через него и можно проникнуть в долину, но эти проходы все узкие, один уже другого. Так вот, о еде — вы ведь путешественник и, наверное, тонули в грязи под проливными дождями на островах у берегов Аляски, туда, поближе к Ситхе. И знаете, какие там леса и травы, густые, сочные — джунгли, да и только. Ну и в этих долинах то же самое. Земля жирная, плодородная, папоротник и всякие там травы кое-где выше головы. Летом три дня из четырех льет дождь, и жратвы хватит на тысячу мамонтов, а уж о мелкой дичи для человека и говорить нечего.

Да, так ближе к делу. У выхода из долины я совсем задохнулся и бросил погоню. И стал я раскидывать умом, и, едва я перевел дух, гнев мой разгорелся вовсю, и я уже знал, что не успокоюсь, пока не отведаю жареной ноги мамонта. И еще знал, что теперь не миновать *скукум мамук тукапук* — прошу прощения, что говорю по-чинукски, я хотел сказать: не миновать большой драки. Так вот, устье моей долины было очень узкое, а стены совсем крутые, и с одной стороны нависла огромная глыба весом в сотни две тонн, и не просто нависла, а качалась — такие

еще называют маятниками. Как раз то, что нужно. Я сбегал в лагерь, все время оглядываясь, не вылез ли мамонт из долины, и прихватил патроны. Но что в них толку, ружье-то разбито. Так что я открыл гильзы, высыпал порох под этот самый камень и подложил бикфордов шнур. Заряд был невелик, но валун лениво качнулся и ухнул вниз, загородив проход, только и осталась щель, чтобы течь ручью. Теперь зверь был мой.

— Как это ваш? — засомневался я. — Где это видано, чтобы человек убил мамонта топором? Да и вообще чем бы то ни было?

— Разве я не сказал вам, что прямо взбесился от злости? — ответил задетый за живое Нимрод. — Да, я был зол из-за Ключ и ружья. И разве я не охотник? И разве мне не интересно поохотиться на такую невиданную дичь? А вы говорите — топор! Тьфу! Да он мне вовсе и не понадобился. Это была такая охота, какая случалась, наверное, только когда мир был молод и пещерный человек охотился с каменным топором. Ну и от моего топора было не больше толку, чем от каменного. Но разве не правда, что человек способен пройти больше собаки и лошади, верно? Что он выносливей, потому что куда умней?

Я кивнул.

— И что же?

Но я, кажется, уже понял и ждал продолжения.

— Если обойти всю мою долину кругом, получилось миль пять. Устье завалено. Выбраться ему некуда. Этот мамонт оказался зверем не из храбрых и теперь был в моей власти. Я снова припустил за ним в погоню, вопил, как дьявол, забрасывал его камнями, трижды заставил обежать долину, а потом

отправился ужинать. Понимаете, в чем штука? Гонки! Человек и мамонт! Ипподром, а вместо судей солнце, луна и звезды.

Я убил на это два месяца, но своего добился. И это вам уже не анекдот. Я гнал его круг за кругом, сам бежал по внутренней дорожке, наспех закусывал вяленным мясом и икрой лосося, а между забегами хитрялся вздремнуть минутку-другую. Бывало, конечно, что он с отчаяния нет-нет да и взбунтуется и повернет на меня. Тогда я мчался к ручью, где земля была мягкая, и клял на чем свет стоит окаянного зверя и всех его предков, и подзадоривал подойти поближе. Но он был слишком умен, знал, что может завязнуть в грязи. Однажды он загнал меня к отвесной скале, и я заполз в глубокую расщелину и затаился. Всякий раз, как он тянулся ко мне хоботом, я колотил его топором, пока он от ярости не поднимал такой рев, что у меня прямо лопались барабанные перепонки. Он знал, что я попался, а достать меня не мог, это его и бесило. Но он был не дурак. Понимал, что, пока я в щели, ему ничто не грозит, и решил не выпускать меня оттуда. И он был совершенно прав, только вот о припасах не подумал. Поблизости не оказалось ни пищи, ни воды, ясное дело, он не мог долго держать осаду. Часами сторожил он у расщелины и хлопал огромными, как одеяло, ушами, отгоняя moskitov. Потом его одолевала жажда, и он начинал трубить так, что земля дрожала, и поносил меня, как только мог. Это он хотел нагнать на меня страху. Решив, что я достаточно напугался, он тихонько пятился и пытался улизнуть к ручью. Иногда я давал ему отойти почти к самой воде — она была всего в сотне-другой ярдов — и тогда вы-

скакивал, и он тотчас с грохотом мчался назад — обвал, да и только. Но скоро он разгадал мою хитрость и переменял тактику. Понял роль времени, так сказать. Ни словечком не предупредив, он как сумасшедший мчался к ручью, рассчитывая обернуться прежде, чем я сумею удрать. В конце концов он страшно изругал меня, снял осаду и неторопливо зашагал к воде.

Это был единственный раз, когда он взял надо мной верх, но после этих трех дней погоня не прекращалась ни на час. Шесть дней кряду шли эти гонки без всяких правил — делай все, что тебе по вкусу, — но ему-то все это было совсем не по вкусу. Одежда моя разорвалась в клочки, чинить ее было некогда, так что под конец я бегал нагишом, как дитя природы, с топором в одной руке и с булыжником в другой. Я не останавливался ни ночью ни днем, лишь изредка на минутку вздремнешь в какой-нибудь расщелине. Что до мамонта, он худел прямо на глазах — потерял самое малое несколько тонн — и стал нервный, как засидевшаяся в девках учительница. Стоило мне подойти к нему и крикнуть или кинуть в него издали камнем, и он сразу подскочит и весь задрожит, точно пугливый жеребенок. А потом опять как припустится, хвост и хобот выставит, косится на меня через плечо, глаза так и горят, а уж ругает меня, уж клянет — на все корки. Бесстыжий был зверь, разбойная душа и богохульник.

Но под конец он угомонился и только все хныкал и скулил, как дитя малое. Он совсем пал духом и стал жалкий, несчастный. Этакая гора, а трясется как студень. Начались у него сердцебиения, его качало, как пьяного, и он валился наземь, сбив ноги

в кровь. А то, бывало, бежит и плачет. Боги и те смилостивились бы над ним, вы бы тоже не удержались от слез, никто не удержался бы. На него было жалко смотреть — такой огромный и такой несчастный, но я только больше ожесточился в сердце своем и прибавил шагу. Наконец я совсем загонял его, и он свалился — в отчаянии, задыхаясь, мучимый голодом и жаждой. Видя, что он не в силах пошевелиться, я перерезал ему сухожилия и потом чуть не весь день врубался в него топором, а он сопел и всхлипывал, пока я не врубился так глубоко, что он затих. Да, он был тридцати футов в длину, двадцати в высоту, а между бивнями можно было гамак подвесить и спать в свое удовольствие. Правда, я выжал из него все соки, а все же он был недурен на вкус, и одних ног, зажаренных целиком, хватило бы на год. Я провел там всю зиму.

— А где эта долина? — поинтересовался я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток и сказал:

— Хорош у вас табачок. Добрую долю его я унесу в кисете, а воспоминание о нем сохранию до самой смерти. В знак того, как высоко я ценю вашу любезность, разрешите взамен ваших мокасин поднести вам эти муклуки. Это память о Клуч и семи слепых щенятах. А кроме того, они напоминают о событии, какого не знала история: об уничтожении последнего представителя самого древнего и самого раннего на земле звериного племени. А муклукам сносу не будет.

Вручив мне муклуки, он выбил трубку, пожал мне на прощание руку и исчез в снежной пустыне. Вы, конечно, не забыли, что я с самого начала снял с себя всякую ответственность за эту историю, а всем

маловеерам я советую посетить Смитсоновский институт. Если они представят соответствующие рекомендации и приедут в урочное время, их, без сомнения, примет профессор Долвидсон. Муклуки теперь хранятся у него, и он подтвердит если не то, каким образом они были добыты, то уж, во всяком случае, какой на них пошел материал. Он авторитетно утверждает, что они сшиты из шкуры мамонта, и с ним соглашается весь ученый мир. Чего же вам еще надо?

1901

ДО АДАМА

ГЛАВА I

Видения! Видения! Видения! Пока я не понял, в чем дело, как часто я спрашивал себя, откуда идет эта бесконечная вереница видений, которые тревожат мой сон, — ведь в них не было ничего такого, что напоминало бы нашу реальную, повседневную жизнь. Они омрачали мое детство, превращая сон в страшные кошмары, а немного позднее внушив мне уверенность, что я не похож на других людей, что я какой-то урод, отмеченный проклятием.

Только днем я чувствовал себя в какой-то мере счастливым. Ночью же я оказывался в царстве страха — и какого страха! Я отважился бы сказать, что ни один живущий ныне человек не испытывал такого жгучего, такого глубокого страха. Ибо мой страх — это страх, который царил в давно минувшие времена, страх, который свободно разгуливал в Юном Мире и гнезвился в душе юноши Юного Мира. Короче говоря, тот страх, что был непререкаемым владыкой в те века, которые носят название среднего плейстоцена.

Что я имею в виду? По-видимому, мне необходимо объяснить это, прежде чем я перейду к рассказу о своих сновидениях. Ведь о том, что прекрасно знаю я, вам известно так мало! В то время как я пишу эту страницу, передо мною встают причудливые картины того, другого мира, проходит черед живых

существ и событий — все это, я знаю, покажется вам бессмысленным и бессвязным.

Что значит для вас дружба с Вислоухим, обаяние и прелесть Быстроногой, разнузданная похоть и дикость Красного Глаза? Несуразные, пустые звуки, не более. Столь же пустыми звуками вам покажутся и рассказы о Людях Огня и Лесной Орде, о шумных, лопочущих сборищах Племени. Ибо вам неведом ни покой прохладных пещер в утесе, ни очарование тропы у водопада по вечерам. Вы никогда не испытывали, как хлещет утренний ветер на вершинах деревьев, как сладка молодая кора, когда ее разжуешь хорошенько.

Быть может, вам будет легче вникнуть в суть дела, если я начну с описания своего детства — собственно, ведь именно детство и поставило лицом к лицу со всем этим меня самого. Мальчишкой я был как все другие мальчишки — если речь идет, конечно, о дне. Другим, не похожим на них, я был по ночам. С тех самых пор, как я помню себя, время ночного сна всегда было для меня временем страха. Редко-редко в мои сновидения прокрадывалось что-нибудь радостное. Как правило, они были полны страха, страха столь необычного, дикого, необычного, что осмыслить этот страх было невозможно. Ни разу в моей дневной жизни не ощущал я такого страха, который хоть чем-то походил бы на страх, владевший мною во время сна по ночам. Это был совсем особый, таинственный страх, выходивший за пределы моего жизненного опыта.

Скажу, к примеру, что я родился в городе, — более того, я был истинным дитятей города, деревня была для меня неведомым царством. Но мне никогда не снились города, ни разу не приснился даже прос-

той дом. Мало того — в круг моих ночных видений никогда не вторгалось ни одно существо, подобное мне, ни один человек. В жизни деревья попадались мне только в парках да в иллюстрированных книжках, а во сне я странствовал среди бесконечных девственных лесов. И я видел эти леса совершенно живыми. Остро и отчетливо представало передо мной каждое дерево. У меня было такое ощущение, что с этими деревьями я знаком давным-давно и сроднился с ними. Я видел каждую ветку, каждый сучок, примечал и знал каждый зеленый листик.

Хорошо помню, как я впервые в дневной жизни увидел настоящий дуб. Глядя на узловатые ветви и резную листву, я с мучительной ясностью почувствовал, что точно такие же деревья я несчетное число раз видел во сне. Поэтому позже я уже не удивлялся, когда с первого взгляда узнавал и ель, и тис, и березу, и лавр, хотя до тех пор мне не доводилось их видеть. Ведь я видел их когда-то раньше, я видел их каждую ночь, как только погружался в свои сновидения.

Все это, как вы заметили, противоречит первой закономерности сновидений, которая гласит, что человеку снится лишь то, что он видел в этой жизни. Мои сновидения такой закономерности не подчинялись. В своих снах я ни разу не видел ничего такого, что имело бы касательство к моей дневной жизни. Моя жизнь во сне и моя жизнь, когда я бодрствовал, шли абсолютно раздельно, не имея между собой ничего общего, кроме разве того, что тут и там действовал тот же самый я. Я был связующим звеном, я как бы жил и в той, и в другой жизни.

С малых лет я усвоил, что орехи добывают в бакалейной лавке, ягоды у торговца фруктами, но, преж-

де чем это стало мне известным, во сне я уже срывал орехи с веток или подбирал их на земле под деревьями и тут же ел; таким же образом я добывал ягоды и виноград с кустов и лоз. Все это было за пределами моего жизненного опыта.

Мне никогда не забыть, когда в первый раз на моих глазах подали на стол чернику. Черники я до тех пор не видел, однако при первом же взгляде на нее я живо вспомнил, что в моих сновидениях я не раз бродил по болотистым урочищам и вволю ел эти ягоды. Мать поставила передо мной тарелку с черникой. Я зачерпнул ягод ложкой и еще не успел поднести ее ко рту, а уже знал, какова черника на вкус. Съев ягоды, я понял, что не ошибся. Вкус у черники был точно такой, к какому я привык, поедая в своих сновидениях эту ягоду на болотах.

Змеи? Задолго до того, как я вообще услышал о змеях, они мучали меня в ночных кошмарах. Они подстерегали меня на лесных полянах, неожиданно взвивались из-под ног, ползали в сухой траве, пересекали голые каменистые участки или преследовали меня на деревьях, обвивая своими огромными блестящими телами стволы и заставляя меня взбираться все выше и все дальше по качавшейся, трещащей ветви, — при взгляде с нее на далекую землю у меня кружилась голова. Змеи! — эти раздвоенные языки, стеклянные глазки, сверкающая чешуя, это шипение и треск, — разве я не знал все это задолго до того дня, когда меня впервые повели в цирк и на арене появился заклинатель со змеями? Это были мои старые друзья — или, вернее, враги, из-за которых я терзался ночами от страха.

О, эти бесконечные леса и дебри, этот ужасающий лесной сумрак! Я блуждал по лесам целую веч-

ность, — робкое, гонимое существо, вздрагивавшее при малейшем звуке, пугавшееся собственной тени, всегда настороженное и бдительное, готовое мгновенно кинуться прочь в смертельном страхе. Ведь я был легкой добычей любого кровожадного зверя, какой только обитал в лесах, — и ужас, безумный ужас гнал меня вперед, бросая за мной по пятам неслыханных чудовищ.

Когда мне исполнилось пять лет, я впервые попал в цирк. Домой я вернулся больным — и отнюдь не от розового лимонада и орехов. Сейчас я расскажу все по порядку. Как только мы вошли под тент, где находились животные, раздалось громкое ржание лошади. Я вырвал свою руку из руки отца и стремглав бросился назад к выходу. Я наткнулся на людей, и наконец упал наземь, и все время ревел от ужаса. Отец поднял меня и успокоил. Он показывал на толпу, которая не боится конского ржания, и уверял, что в цирке совершенно безопасно.

Тем не менее лишь со страхом и трепетом и под ободряющей рукой отца приблизился я к клетке, в которой сидел лев. О, я тотчас узнал его! Грозный, ужасный зверь! И в моем сознании вдруг вспыхнула картина из ночных видений — полуденное солнце сверкает на высокой траве, мирно пасется дикий буйвол, внезапно трава расступается под стремительным рывком какого-то темно-рыжего зверя, зверь этот прыгает на спину буйволу, тот, мыча, падает, потом слышится хруст костей. Или другое: спокойное прохладное озерцо, дикая лошадь, стоя по колена в воде, неторопливо пьет, и тут снова темно-рыжий — опять этот темно-рыжий зверь! — прыжок, ужасающий визг лошади, плеск воды и хруст, хруст костей. Или еще: мягкий сумрак, грустная тишина летнего

вечера, и среди этой тишины могучее, гулкое рычание, внезапное, как трубный глас судьбы, и сразу же вслед за ним пронзительные, душераздирающие крики и лопотание в лесу, и я — я тоже пронзительно кричу и лопочу вместе с другими в этом сумраке леса.

Глядя на него, бессильного за толстыми прутьями клетки, я пришел в ярость. Я скалил на него зубы, дико плясал, выкрикивал бессвязные, никому не понятные унижительные эпитеты и строил дурацкие рожи. В ответ он бросался на прутья и рычал на меня в тщетном гневе. Да, он тоже узнал меня, и язык, на котором я разговаривал с ним, был знакомым ему языком древних, седых времен.

Мои родители страшно перепугались. «Ребенок заболел», — сказала мать. «У него истерика», — сказал отец. Ведь я никогда ничего не рассказывал им, и они ничего не знали. Я уже давно решил тщательно скрывать ото всех это мое свойство, которое, полагаю, я вправе назвать раздвоением личности.

Я посмотрел еще заклинателя змей, и больше на этот раз в цирке я ничего не видел. Меня увели домой, утомленного, в сильном нервном расстройстве: от этого вторжения в мою реальную, дневную жизнь другого мира, мира моих ночных сновидений, я был по-настоящему болен.

Я уже упоминал о своей скрытности. Только однажды я доверился и рассказал о своих необыкновенных снах. Я рассказал об этом мальчику — своему приятелю; нам обоим было по восемь лет. Из своих сновидений я создал для него картину исчезнувшего мира, в котором, как я уверен, я когда-то жил. Я рассказал ему о страхе, царившем в те незапамятные времена, поведал о Вислоухом и обо всех

проделках, на которые мы с ним пускались, о безалаберных и шумных сборищах Племени, о Людях Огня и о захваченных ими землях.

Приятель смеялся и глумился надо мной. Он рассказал мне о привидениях и мертвецах, которые являются по ночам. Но больше всего он издевался над тем, что у меня будто бы слабая фантазия. Я рассказывал ему еще и еще, он хохотал надо мной все сильнее. Я самым серьезным образом поклялся ему, что все это так и было, и после этого он стал смотреть на меня с подозрением. Всячески перевирая, чтобы только позабавиться, он передал мои рассказы другим товарищам, и те тоже начали относиться ко мне с подозрением.

Это был горький урок, но я усвоил его крепко. Я иной, чем все другие. Я ненормален, ненормален в чем-то таком, чего они не могут понять, о чем бесполезно рассказывать, — ведь это вызывает только недоразумения. Когда при мне говорили о привидениях и домовых, я был совершенно спокоен. Я лишь хмуро улыбался про себя. Я думал о своих страшных снах, и я знал, что мои видения — это отнюдь не какой-то туман, тающий в воздухе, не призрачные тени, а реальность, такая же реальность, как сама жизнь.

Я и в мыслях не боялся каких-либо злых людоедов или страшных чертей. Падение сквозь покрытые зеленью ветви с головокружительной высоты, змеи, бросавшиеся за мной по пятам, когда я увертывался и, лопоча, удирал от них, дикие собаки, гнавшие меня через открытое поле к лесу, — лишь эти страхи и ужасы были для меня реальными, лишь это — подлинной жизнью, а не выдумкой, лишь тут трепетала живая плоть, струились кровь и пот. Людоеды

и черти — да они были бы мне просто добрыми друзьями, если сравнить их с теми страхами и ужасами, которые посещали меня по ночам во времена моего детства и которые доселе тревожат мой сон, тревожат и ныне, когда я, уже зрелый мужчина, пишу эти строки.

ГЛАВА II

Я уже говорил, что никогда в моих снах не появлялось ни одно человеческое существо. Я осознал этот факт очень рано и мучительно страдал от этого. Еще малым ребенком, погружаясь в свои страшные сновидения, я чувствовал, что, если бы рядом со мной оказался хоть один человек, хоть одно существо, подобное мне, я был бы спасен, меня не преследовали бы больше эти ужасы. Многие годы я думал каждую ночь об одном и том же — найти бы этого человека, и тогда я буду спасен!

Я повторяю — я думал об этом во сне, среди кошмаров и сновидений, — этот факт означает для меня, что во мне одновременно живут два существа, две личности и что в такие минуты эти два существа, две моих части соприкасаются и сближаются друг с другом. То мое «я», которое принадлежало ночным сновидениям, жило давным-давно, в ту далекую эпоху, когда еще не появился и человек, каким мы его знаем; вторая моя личность, мое дневное «я» проникало в эти сновидения, в самую их сердцевину, и давало почувствовать, что на свете существуют люди.

Возможно, ученые-психологи найдут, что, употребляя выражение «раздвоение личности», я допускаю ошибку. Я знаю, в каком смысле употребляют

СОДЕРЖАНИЕ

Осколок третичной эпохи. <i>Рассказ</i> <i>Перевод Р. Облонской</i>	5
До Адама. <i>Повесть. Перевод Н. Банникова</i>	20
Когда мир был юным. <i>Рассказ</i> <i>Перевод Г. Злобина</i>	162
Алая чума. <i>Повесть. Перевод Г. Злобина</i>	186